

*Посвящается моему лучшему другу*

**П**етр Львович Волынский родился в Москве в семье действительного тайного советника Льва Алексеевича Волынского, и потому его детство проходило как детство всякого сына титулованного чиновника той поры: всяческие гувернеры, жизнь без забот и противоречий.

Безмятежное будущее Пети было предрешено, и ему оставалось только с наслаждением плыть по течению молочной реки вдоль кисельных берегов. Но в один судьбоносный вечер родители повели мальчика в Большой театр, на оперу «Iphigénie en Tauride» Кристофа Виллибальда Глюка. Пылающий мстью Орест, верный Пилад, жестокосердый жрец Тоас и сама Ифигения пленили сердце и воображение юного Петра. В тот же вечер за ужином он объявил о том, что станет великим композитором и будет писать оперы с греками и пегасами.

«Я был увлечен до последней степени, мой юный энтузиазм не знал границ. Все больше приходил я к убеждению, что в качестве государственного чиновника никогда не буду счастлив. Теперь уже ни просьбы, ни угрозы не могли ничего изменить. Я хотел стать музыкантом, и никакая сила в мире не заставила бы меня стать чиновником».

Мальчику, по его слезной просьбе, сердобольная матушка приобрела рояль и подыскала педагога. Аркадий Анатольевич Шубин, виолончелист и главный выпивоха оркестра Малого театра, педагогом-то был посредственным, а музыкантом, по правде говоря, и того хуже, но с ним Петя начал серьезно заниматься.

И дело вскоре заладилось. У мальчика обнаружились неплохие слух и память, на третье занятие он уже принес свой первый опус — «Tarantella pour fortepiano solo». Пьяноватый Шубин отозвался о сочинении восторженно, а от похвалы из уст как-никак профессионального музыканта, переигравшего на своем веку всего и всякого, воображение юного Волынского разыгралось не на шутку и начало рисовать ему честолюбивые картины предстоящих великих свершений.

Сестра вспоминала, как он сказал ей однажды: «Вот увидишь, обо мне еще заговорит весь мир! Я добьюсь успеха, уважения, любви, и скажу новое слово в искусстве. Ты будешь гордиться тем, что я твой брат...»

Тем временем юному Волынскому исполнилось столько лет, что надлежало окончательно решать вопрос о его будущем, и вот тут-то амбиции Петра столкнулись в конфликте с желаниями отца.

Лев Алексеевич, будучи тертым калачом, хотел для сына такого занятия, которое позволяло бы тому в ус не дуть, жить сыто, спокойно и припеваючи. Между отцом и сыном состоялся неприятный разговор, в ходе которого Петр Львович прямо заявил отцу, что у него есть одно будущее — музыка, и жизнь его ни с чем другим быть связана не может.

На это Лев Алексеевич возразил сыну, что таланту у того — кот наплакал, что тот избалован и глуп и что следует, пока возможно, воспользоваться папиными связями в определенных департаментах некоторых министерств. Кончился разговор тем, что Петр ночью сбежал из дома и, презрев материнские слезы, отправился в Санкт-Петербург искать славы и занятий, достойных свободного художника.

«Моим поступкам, мечтам, всем счастьям и несчастьям только успех может служить достойным оправданием. Иначе же вся моя жизнь оказывается жалкой, пошлой и недостойной внимания шуткой».

\*\*\*

«В Петербурге все серо и мрачно, небо неизменно пасмурное, без просыху идут дожди. И холодно, как в Сибири. Но душу свербит сладкая грусть, и музыку от этого хочется сочинять еще сильнее, каждую свободную секунду. Бесперывно, черт подери!»

Волынский быстро усвоил наипростейшую истину мироздания: для того чтобы жить и питаться, человеку потребны деньги. Поэтому беглецу пришлось искать работу по способностям и по зову сердца. Петр устроился пианистом в бордель с репутацией плохой даже для публичного дома. К чести юноши следует сказать, что все свободные время и средства он посвящал не увеселениям, легкодоступным по месту его работы, но одной музыке. Завсегдатай Мариинской галерки лихо оценивал все прослушанные оперы по десятибалльной шкале: «Доницетти — “Лючия ди Ламмермур” — 4. Гуно — “Фауст” — 6. Россини — “Севильский цирюльник” — 7. Вагнер — “Тангейзер” — 10! Глинка — “Жизнь за царя” — 5 (сцена Сусанина в лесу — 8)».

Через два веселейших месяца полиция благоуспешно прикрыла вертеп. Тогда Волынский решил преподавать игру на фортепиано и напечатал в газете объявление: «Приходящий на дом педагог г-н Pierre Volinsky (дворянин, не поляк) дает уроки игры на фортепиано и хороших манер за очень умеренную плату».

Ученица у него появилась всего одна, зато какая! Красавица Сашенька Швецова, к тому же дочка золотопромышленника Степана Даниловича Швецова, построившего железную дорогу из Рыбинска в Ярославль. Про Сашеньку, надо доложить, в обществе ходили мнения довольно разнородные и неоднозначные. Заявляли, например, что она «глупа, как воробей» и «наивна, как окорок». Хотя красива была! Черт возьми! Такими, вероятно, были греческие нимфы, лишавшие рассудка даже античных богов...

Нечего в таком случае удивляться, что и наш герой потерял сон, аппетит и голову, а через месяц предложил ученице руку, сердце и себя всего, решительно всего! Барышня, расплакавшись, дала согласие, но лукавое, бессмысленное общество стало считать Петра Львовича лицемером, альфонсом и все-таки поляком.

\*\*\*

Золотопромышленнику Степану Даниловичу Швецову не давали покоя лавры купца второй гильдии Саввы Матвеевича Носорогова. Тот, ставши меценатом, сумел покориť всю Европу бесподобной оперной антрепризой и стать купцом первой гильдии.

Недолго думая, Швецов заявил, что «раз жид сумел, то русский и подавно сдюжит», и создал свою оперную труппу. А рассудив, что публика падка на «что-нибудь эдакое да поновее», он заказал новоявленному зятю оперу «Агамемнон во Фракии», либретто которой составил сам. Видно, так свилась прядь Мойр, трех эллинских ткачих Судьбы... Не забывший детской клятвы Волынский, услышав одно только название будущей оперы, с радостью и немного безумным блеском в глазах дал согласие.

\*\*\*

«Идеи, темы, модуляции, оркестровые эффекты, различные музыкальные «хитрости» так и льются из меня потоком! Уже не ручей имя ему, а море! Ха-ха! Записываю мысли на чем попало, а затем все эти бумажные обрывки складываю в специальный ящик стола. Не дай Бог, что-нибудь оттуда потеряется — не вспомню... Однако какое счастье! Как же приятно (по-серьезному впервые) испытывать такие чувства! Даже во сне слышу свою оперу! Я решил, что сразу после свадьбы (красивой, пышной, дорогой) начну писать набело, от вступления и до заключительного хора».

«А начинать, знаешь, страшновато. Ведь будет же ужасно обидно, если из такой чудесной задумки получится второсортная поделка!»

«Работа идет медленно и не так легко, как мне бы хотелось. Что в голове вышло так ловко, эффектно, красиво, умно и законченно, теперь на бумагу является в плоском, довольно банальном и до обидного несовершенном виде. Ума не приложу, что тому виной: таланта ли у меня нет, тема ли не моя или же вечно так было, бывает и будет в творчестве? Просиживаю над «Агамемноном» целыми днями, а сочинить удается пару страниц, а то и строчек! Вроде бы по отдельности многие фрагменты и недурны, но все вместе выходит слабо до слез. Господи, помоги и помилуй!»

«За вчерашний день исписал два с половиной сантиметра чернил (я замерил) и в три часа ночи наконец-то закончил свою окаянную оперу. Ощущения странные: с одной стороны, «наконец-то», а с другой — даже как-то грустно покидать созданную мной Элладу. Хотя примешивается и еще одно чувство — страшное недовольство конечным результатом: слабые моменты есть по всей опере, а финал написан наскоро и просто отвратителен. Весь день сегодняшний сидел и что-то правил, добавлял, менял местами, переписывал заново, но все равно мне самому, автору, самому важному судье, опера не то что не нравится, она мне противна! Устал от всего как собака. Творчество — каторга, рабский, мучительный труд! Я к такому, честно говоря, готов не был».

\*\*\*

Волынский проиграл готовую оперу Семену Даниловичу. Тесть был тронут, расцеловал зятя и даже вытер платком слезу, сбегавшую по черной, ухоженной бороде.

\*\*\*

Начались репетиции. Бывшему патриаршему протодиакону Василию Грязному, выгнанному из Свирского монастыря с немислимой формулировкой — «за католицизм», поручили партию Агамемнона; Клитемнестру согласилась исполнять

молодая и капризная сопрано Елена Ростовская, а роль Менелая досталась Николаю Сыровому, баритону-забияке, склочнику и бретеру.

Спевки проходили тяжело и бесполезно. Грязной напивался с кларнетистами в оркестровой яме, Сыровой скандалил с рабочими сцены, вызывал их на дуэли и иногда присоединялся к Грязному и кларнетистам, Ростовская изображала из себя примадонну, что выходило у нее довольно неловко, и покрывалась красными пятнами, когда начинала нервничать. Швецов приводил на репетиции непонятных девушек, коих он представлял как «молодых, многообещающих певиц» и которые постоянно хихикали, сидя на последних рядах.

Волынский злился, негодовал, топал ногами, кричал, и малейшая трудность доводила его едва ли не до слез. Когда же Сыровой потребовал у него сатисфакции, автор оперы и вовсе перестал посещать репетиции. Суть конфликта была такова: ариозо царя Менелая в конце второго действия категорически не нравилось своему равному баритону, и он предложил заменить его каватиной Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини — все равно никто не заметит; за это Волынский в сердцах обозвал певца «паскудъей рожей».

\*\*\*

Через полгода «Агамемнон», хотя и с горем пополам, но был разучен. Изготовили костюмы с декорациями. Пора было перед народом ответ держать. Швецов решил на рекламу не скупиться: во всех газетах крупным шрифтом напечатали, что такого-то числа «представлением оперы г-на Волынского «Агамемнон во Фракии» (либретто купца второй гильдии С. Д. Швецова) (мировая премьера!) открывается Оперный театр купца второй гильдии Швецова».

«Все больше прихожу к убеждению, что «Агамемнон во Фракии» есть вещь первоклассная. Сейчас я чуть отдохнул, успокоился, нервы пришли в норму, и я могу теперь ясно видеть достоинства моего детища. Отец был неправ. Есть, есть талант! Я даже воображаю время от времени, что оперы совершенней не сочинялось. Понимаю, что это смешно и самоуверенно, но что же я могу с собой поделывать? Не представляешь, что за чувство, когда выстрадавшая, сочиненная и записанная немymi нотами твоя музыка вдруг начинает звучать по-настоящему...»

Премьера обещала стать настоящим событием — ожидался приезд самого великого князя Ивана Николаевича. Судя по слухам, за этот визит Швецов обещал оплатить часть карточных долгов августейшей особы.

И настал день долгожданного первого представления.

Отрубила третья фанфара. Дамы в платьях, с соболями и лисами, мужчины в кителях и фраках — в сюртуках на крайний случай, — с орденами и часами на цепочках, девицы в белых, по локоть, перчатках уже обменялись всевозможными новостями и выпили в буфете чаю, а теперь усаживались в ложах, расчехляли бинокли и сотни взглядов устремляли на дирижера, который неторопливо и чинно проходил через ряды оркестрантов к своему пьедесталу. Зал медленно наполнился мраком. Взмах дирижерской палочки — и заиграли альты. Поднялся занавес, волшебство театра началось...

Великий князь прибыл к концу первого действия. Невнимательно и с нескрываемой скукой, часто зевая, следил он за происходившим на сцене, а в ложу неслышно вошел неизвестный мужчина лет сорока, лысенький, низенький, типичная канцелярская крыса, достал револьвер и выстрелил Ивану Николаевичу в затылок.

Как выяснило следствие, убийцу великого князя звали Виктор Демочкин. Он утверждал, что совершил преступление, потому что князь обесчестил его дочь и

не женился на ней. Правда, в полиции его рассказу не поверили — к злодейству наверняка приложили руку проклятые эсеры. Демочкина повесили по приговору военно-полевого суда, но премьера «Агамемнона во Фракии» оказалась сорвана.

«Великого князя, конечно, жалко, но более мне жалко сорванную оперу мою, на которую ушло столько сил, трудов, нервов!»

Однако на следующее утро... Все печатные издания, на первых полосах и крупным шрифтом возвещали о печальном происшествии: «Трагедия на трагедии: великий князь Иван Николаевич убит на премьере оперы г-на Волынского “Агамемнон во Фракии”», «Смерть в царской ложе: великий князь застрелен во время оперы «Агамемнон во Фракии» П. Волынского», и так далее. Заголовки были различны, но во всех упоминалась новая опера и ее создатель. «Кажется, этот эсер Демочкин меня прославил на весь Петербург!»

Действительно: имя его услышали, имя его запомнили, так что последующие представления оперы давали полные сборы, «Агамемноном» заинтересовался Мариинский театр. Говорили, что определенное любопытство к представлению проявлял сам император. Какбы монарх даже хотел посетить один из спектаклей, но его в последний момент отговорил Григорий Распутин. Небольшое интервью с Волынским появилось в газете «Музыкальный досуг»:

— Петр Львович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о своей работе.

— Вы понимаете, для любого музыканта главное — не торопиться в своих занятиях. Сейчас я подбираю материал для своего следующего замысла. Мною задуманы еще три оперы на античные сюжеты, и вместе с «Агамемноном во Фракии» они составят единое целое, как «Нибелунгов перстень» Вагнера. Степан Данилович (Швецов, тесть композитора, купец второй гильдии — прим. ред.) сочиняет либретто. Тетралогия будет поднятым мною знаменем, призывающим музыкантов вернуться к истинной опере, с ариями, ансамблями, красивым и приятным пением. Надеюсь, прочие композиторы поймут и поддержат меня.

— А о чем будет ваша следующая опера?

— Трагедия из времен Троянской войны, про царя Приама и Ахиллеса. В общем, будет здорово!

«Начинать новую оперу было еще труднее, чем «Агамемнона»! Хочется оправдать надежды, и прежде всего свои. Никак не мог подобрать нужный стиль. Сначала боялся, что она музыкой слишком похожа на первую, потом, что она выходит всем хуже первой. Тогда я снова возгорелся любовью к «Агамемнону» и с большим удовольствием присочинил туда вставную арию Клитемнестры, о которой давно меня упрашивала Ростовская. Сразу после этого окинул свежим взглядом начало новой оперы и отказался от вступительного хора. Прямо начну со сцены, где Аякс и Ахиллес играют в кости».

\*\*\*

Мойры — сестрицы лукавые и любят порой устраивать своим баловням неприятные сюрпризы. Авторитетное издание «Музыкальный вестник Российской Империи» опубликовало заметку «“Агамемнон во Фракии” П. Волынского» за подписью известного борзописца Виктора Георгиевича Колосовского. В фельетоне говорилось о том, что «наивность, безжизненность и несценичность либретто налагают печать на музыку, а сплошные коротенькие темы в один-два такта делают оперу сухой и однообразной» и так далее, а после перечисления всех музыкально-теоретических упущений композитора безжалостный Колосовский подводил неутешительный итог: «В истории музыки нередко хорошие сочинения неспра-

ведливо разносились критикой в пух и прах, но еще чаще плохие произведения назывались хорошими. «Агамемнон во Фракии» относится именно к последнему случаю. Это опера пустая, несамостоятельная, попросту глупая, а г-н Волынский представляет собой музыканта без особого дарования, на чью долю успех выпал незаслуженно, а только благодаря определенному стечению обстоятельств. Помните мое слово: завтра же о нем все позабудут».

Купив «Музыкальный вестник», Петр Львович раскрыл его на развороте со злополучной статьей. Не знаю, что точно думал Волынский в тот момент. Наверное, он убеждал себя, что Колосовский просто ничтожество и завистник, а его глупая статейка — ерунда, о которой не стоит и думать, но все же, вероятно, он негодовал, был в ярости, а в его душе бродило отвратительное сомнение: «Неужели он прав?»

Возможно, он судорожно вспоминал не очень удавшиеся места в «Агамемноне», одна мысль о которых доставляла ему теперь едва ли не физические страдания. Об этом можно только гадать.

Однако доподлинно известно, что, когда Волынский, уткнувшись в газету, переходил через улицу, он поскользнулся и попал под экипаж, колесом ему расплющило голову... Ах, читатель! Прости меня за всю кровь, пролитую на этих страницах! Меня принуждают к этому лишь кровожадная жизнь и кровожадное время.

«Я раздумывал о вопросах бытия, и вот что получилось. Есть жизнь, смерть и искусство, а все иное не важно! Искусство соединяет жизнь и смерть как мост».

\*\*\*

В театре Швецова в последний раз давали «Агамемнона во Фракии». Спектакль посвящался памяти безвременно почившего автора оперы. Над сценой висел его портрет в аляповатой раме и с траурной лентой, откуда на зрителя немного насмешливо смотрел молодой человек с внешностью скорее врача с малой практикой или титулярного советника, чем музыканта: аккуратный пробор, тонкие усики, клиновидная бородка, лицо интеллигентное, но в целом незатейливое и непримечательное. Сбор от спектакля получала безутешная вдова композитора, сидевшая в ложе вместе с зеленоглазым кавалером в военной форме. Про него было известно лишь то, что он начинающий писатель не без таланта.

За отдельными номерами следовали жиденькие аплодисменты. Малочисленная публика скучала. От большого количества пустующих мест зал выглядел просторней и светлее, что действовало угнетающе и на артистов, и на зрителей. По сцене скакал Сыровой-Менелай в голубой тунике и задорно пел: «Фигаро! — Я здесь! Эй, Фигаро! — Я там! Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро вверх, Фигаро вниз. Сделано все, от меня что зависимо, и все довольны — вот я каков!» Зрители приоживились, услышав знакомый мотив.

Вдруг каватину Фигаро пресек пронзительный вопль: «Пожар!» — из правой кулисы выскочил Грязной в пылающей тоге, он начал кататься по сцене и кричать, от его тоги занялся пламенем занавес из багрового бархата.

Огонь жадно пожирал драпировки, украшавшие стены, жесткие и неудобные кресла, паркетный пол, декорации фракийского берега. Жгучие языки обуглили и стерли в прах изображение Петра Львовича Волынского. В оркестровой яме от жара истлевали ноты на пюпитрах, точно на языческом алтаре они приносились в жертву покровителям искусств, изображенным на высоком потолке. Античные портреты почернели, краска начала пузыриться и лопаться. И лицо Аполлона скрючилось в жуткой гримасе, один глаз стал больше другого, и из бога красоты он преобразился в отвратительного уroda...

Сергей Сергеевич Искрабов, или дядя Сережа, Евгений Тарасович Хачатурян, или дядя Женя, и Владимир Иванович Тритонов, мой отец, вернулись с кладбища в пятом часу. Непривычно выбритые, орошенные туалетной водой, они переоделись обратно в дачное и собрались у стола под ивой. Из шуршащего пакета достали бутылку коньяка, сверкнувшую квинтетом звезд. Золотистая жидкость наполнила рюмки. Предназначенную усопшему отставили в сторону.

— Иваныч, не суетись, — сказал дядя Женя отцу, который нес из теплицы спелые душистые помидоры. — Садись.

Отец опустил на табурет.

— Ну что, мужчины, — в последнем слове дядя Сережа выделил букву «ч», — давайте помянем Анатолия Васильевича, — он вздохнул, помолчал и добавил: — Умер Толя...

Дольку помидора отец положил к стопке усопшего друга. Выпили, не чокаясь. Перезвон рюмок не вплеся в гармонию звуков июльского вечера: визга электро-рубанка, шелеста темных ивовых листьев, остервенелого лая собак, почуявших велосипедиста или другую собаку, писка комаров и жужжания мух. Описывая летний пейзаж, не обойтись без комаров и мух...

— Царствие небесное, Толя... Господи, прости, — дядя Женя опустошил стопку последним. Поморщился.

Заговорил отец:

— Давно я не был на похоронах... В последний раз, когда сестра умерла. Пятнадцать лет прошло, боже мой! Ты помнишь тетю Машу? — он обратился ко мне, я кивнул. — Тоже рак. Теперь Толя. Можно сказать, отмучился... И всякий раз до конца не верится, что человека в землю зарыли и это навсегда.

Дядя Женя прихлопнул комара:

— Пока живой, понимаешь только все больше и больше, что умирать не хочется.

— Я так считаю: смерти нет, — сказал дядя Сережа. — Пока живешь, нет ее. И когда умрешь, ее тоже не будет. Нет перехода, раз — и все, — он повертел пустую рюмку в руках. — А жизнь — это редкий дар. Вот знаете, как говорят тибетские монахи?

Дядя Женя кивком головы просил его продолжать.

— Если ссыпать на иголку мешок зерна, то лишь одно зернышко из всего мешка наколетса на иголку. Вот так редко душе выпадает дар жизни, — дядя Сережа снял засаленную кепку и пригладил седые, чуть вьющиеся волосы. Вздохнул.

Отец, посыпая солью помидоры, хмуро ответил:

— Только стоило ли вообще попадать на иголку? Какой смысл рождаться, заводить детей...

Тут бы я мог обидеться, но пускай закончит отец.

— Если такая смерть, выматывающая, страшная.

— Может быть, — мрачно согласился дядя Сережа. Кажется, его задело то, что тибетская мудрость не вызвала у отца восторгов.

Дядя Женя достал из кармана заляпанной маслом военной куртки сигареты и спички, закурил.

— Когда у Толи в больнице был, вот сюда, — он прикоснулся к виску двумя пальцами, — запали его слова, что в болезни забываешь, как это быть здоровым. Да лучше и не вспоминать. Он еще пошутил, что скоро с Овидием об этом поспорит. Или с Вергилием. С кем-то из греков, в общем. Я не понял — чересчур культурные шутки у него... — он потянулся стряхнуть пепел, вышло драматично, — были.

— Читал тут про онкологию, — сказал дядя Сережа. — Клетки начинают мутировать, размножаются и вытесняют здоровые. Когда поймут, чего они мутируют, тогда поймут, как лечить эту гадость... Вот позавчера приснился кошмар. Подскочил среди ночи. Пытался понять, приснилось мне или на самом деле у меня в мозгу опухоль размером с горошину. Кажется, приснилось, — он нервно усмехнулся. — Неужели вся жизнь — только перетекание соков из одного куска мяса в другой? Так не должно быть. Это было бы просто... нечестно.

Загудела водокачка на озере. Начинаясь вечерний полив.

Отец взглянул на меня.

— На кладбище пообщался с Толиным отцом. Говорит, в последнюю ночь Толя ворочался, долго уснуть не мог. Дали обезболивающего со снотворным. В четвертом часу подумали — заснул, но оказалось — умер. А перед тем, знаете, что сказал? «Мне было так больно, а теперь нет».

— Наливай, Иваныч, — глухим голосом шепнул дядя Сережа.

Пока со звуком, который вернее всего описать как «пы», открывается коньяк и наполняются вновь поминальные чаши, я вспоминаю. Почему-то отца все знакомые называют Иваныч. Он относится к этому спокойно, как к чему-то должному. Зато я, когда был помладше, страшно обижался на папиных друзей и допрашивал папу, почему, например, дядю Женю никто не зовет Тарасычем. Отец отвечал, что отчество Тарасович неудобно и долго произносить. Остаток вечера я быстро, без остановок и с видимым удобством шептал: «Тарасыч-тарасыч-тарасыч...» Однажды и я назвал папу Иванычем. Мне до сих пор мучительно стыдно.

— Земля пухом, Толя... Господи прости, — опустошенные рюмки вернулись на стол, где их ждала одна полная.

— Родителей Толиных жалко. Схоронили обоих сыновей. Сами живы, остались одни. Страшнее не придумаешь, — начал дядя Сережа, затем с улыбкой припомнил и продолжил: — Помню, еще в школе, остался как-то у Толи ночевать. Говорит: «В окне напротив женщина раздевается». Ну погасили свет в комнате, взяли бинокль. Наблюдаем. Вдруг позади нас дверь открывается — его мать. Толя мигом вскочил, распахнул форточку и замахал руками. Ничего не понимаю, мать спрашивает: «Что вы тут такое делаете? Тем более в темноте...» А он: «Да комаров выгоняем». Да... Надо было их навестить.

Веселые воспоминания в скорби наводят особую печаль. Замолчали. Я отвернулся от стола. Черные листья ивы устали за знойный день и шелестели вяло, еле слышно, не желая привлечь внимание...

Ивовый куст мы выкорчевали на следующий год. С необъяснимым самозабвением перерубали цепкие корни, затем, крихтя, подняли из ямы пень с корневищем, облили бензином и за двое суток сожгли.

Дядя Женя опять закурил:

— Да... С возрастом кажется, что молодость счастливой была, даже дурное оттуда несерьезное какое-то, милое. Пожалуй, не все тогда было настолько хорошо, но ведь почему-то кажется.

— Жень, а тебе курить после Толи не страшно? — спросил отец и покачал головой.

— Ты как жена моя, Иваныч. Не начинай, — махнул рукой дядя Женя.

— А моя, как про Толю услышала, вся напряглась: «Мало ли что. Мало ли что. Не трать столько. Мало ли что». Тьфу, — дядя Сережа постучал по иве.

— Мне бы дом достроить, а там трава не расти. Сложно по себе оставить след основательнее, чем дом! Будут внуки там жить. Добром вспомнят деда.

Владея двумя участками (один со старым домом и теплицей, другой — целиком под картошку), дядя Сережа задумал вместо картошки грандиозную стройку: настоящий дачный замок в два этажа, газовое отопление и батарея в каждой комнате,



холодная и горячая вода, камин, пол с подогревом и подземный гараж. Он выходил на пенсию и не хотел больше жить в городе.

— Ну а если «мало ли чего»? — дядя Женя съел помидорную дольку.

— Лечение может быть еще пострашнее болезни. Чем быстрее все кончится, тем лучше, — дядя Сережа согнал муху с рюмки усопшего.

— Сколько угробил Толя на лечение? Сотни тысяч, подумать страшно. И что? Все без толку, — отец пожал плечами.

— Хотели в Израиль везти, на опытное лечение какое-то, а он уже рукой махнул: «Не перенесу полет. К черту, к черту все», — вспомнил дядя Женя.

— Вот и скажи, Сережа: стоит попадать на иголку и настолько измучиться, чтоб захотелось умереть поскорее?

Дядя Сережа ответил:

— Не знаю.

Вечернее небо распарывала розоватая черточка самолета, оставляя за собой такой же розоватый след. Роем гудели проклятые комары да мухи.

— Жень, расскажешь еще про больницу? — попросил отец.

— Толя вспоминал, — дядя Женя бросил окурочек в пластиковый стаканчик, и опять получилось драматично. — Говорил, раз в груди закололо и никак не проходило. Подумал на сердце, к врачу пошел, на лестнице закашлялся, кровь пошла ртом. Оказалось, рак легких. Узнал — быстро расклеился. Бодрость, юмор, аппетит пропали. Мысли все на заразу переключились.

— Он исхудал до неузнаваемости, — вставил дядя Сережа почти шепотом. — Только кончики его пальцев как-то распухли. Мне было не по себе, я постоянно смотрел на них...

— Еще говорил, что поправиться мечтал, чтоб прямо к следующему утру. Всю боль перетерпеть хотелось за ночь. Совсем отчаялся. Засыпая, молил Бога облегчить ему муки, в глубине души надеялся проснуться полностью здоровым, хотя понимал, что глупо. Да и сны лишь о том были, как он поправляется. Но каждое следующее утро Толе становилось как-то хуже, — дядя Женя снял очки, потер глаза, надел очки обратно.

Отец наполнил рюмки.

— Верно, Иваныч, — сказал дядя Сережа, подперев голову кулаком.

— Покойся с миром, Толя... Господи прости...

Некоторую разнородность имени Евгения Тарасовича Хачатуряна я заметил совсем недавно. Но смуглые черты, орлиный профиль и кавказские нотки в голосе, как у Сталина в кино, выдают в нем все-таки армянина, который, кстати сказать, в иных случаях прекрасно играет на гитаре и поет.

Дядя Женя продолжал:

— После четырех терапий ему искромсали пол-легкого и отпустили домой. Но ему дышать было больно, каждый вздох обжигал, и от лекарств вдобавок мутило. «Резкого улучшения не бывает. Потерпите», — говорили врачи. И опять приходилось мечтать только о том, чтобы почувствовать себя нормально. Год прошел, его обследовали. Объявили: опухоль возобновилась, а резать больше нельзя. Тогда Толя и понял, что все. Ладно, хватит...

Розоватый след самолета потемнел до лилового и расползся по небу, став похожим на треугольное облако. Верхушка ели за забором соседского участка качалась под июльским вечерним ветром (довольно зябким), точно пыталась разогнать недосыгаемые облака.

Отец сказал:

— Наш друг умирал, а мы жили каждый своими заботами. Странно... и не так уж странно. Мы тоже начнем умирать. Наше время остановится, а жизнь осталь-

ных будет лететь себе дальше... И никто не поможет, мы будем одиноки. Скажем только: «Боже, как мне больно было, а теперь нет».

— «Боже, как мне больно было, а теперь нет». Так разве этого мало? — спросил дядя Женя.

Обычно посиделки трех друзей проходят иначе. Как правило, на стол ставится пиво или недорогое вино в картонной упаковке. И нет ничего зазорного в том, чтобы пить вино и пиво из чайных кружек. Дядя Сережа разворачивает газету на кроссворде и вооружается ручкой. Они предаются разговорам об урожае и воспоминаниям, в которые вклиниваются вопросы вроде: «Французский художник, родоначальник импрессионизма, четыре буквы, вторая “о”?» И так неторопливо и приятно коротается летний вечер. Мычит электрорубанок, из банных труб стелется ароматный дым, пищат комары, где-то играет радио...

Тем временем о дяде Сереже вспомнила супруга. Он убрал телефон обратно в карман и коротко сказал:

— Пора закругляться.

— Что ж, — отец разлил по рюмкам остатки коньяка, а пустую бутылку убрал под стол. — Сережа, скажешь напоследок что-нибудь?

Дядя Сережа помотал головой. Тогда дядя Женя поднял свою стопку и, прикрыв глаза, тихо произнес:

— Вечная память, Толя... Господи прости.

Отец проводил гостей до калитки. Там они молча и крепко пожали руки, и мужчины побрели по домам в вечернюю даль.

Папа стал убирать со стола. Потянувшись за полной рюмкой усопшего, он на миг остановился, но все же взял ее вместе с долькой помидора и унес в дом.

Ничего, текучие дни возьмут свое. Мрачные мысли у них в головах скоро улягутся, до следующего раза.

Честно признаться, Анатолия Васильевича я не знал лично. Он не появлялся на днях рождения отца, не захаживал, позвякивая пакетом, в гости, как дядя Женя или дядя Сережа, — он не был дачником. Но звонил иногда... С отцом и дядей Женей они познакомились на работе, давным-давно. С дядей Сережей, как я понял, они дружили с самого детства.

Дружеские речи — не самый надежный источник сведений, хотя из них я вынес убеждение, что Анатолий Васильевич был добрым и деятельным человеком. Слышал также, что он был разведен и, кажется, имел дочь. Больше мне добавить нечего.

Сказав отцу, что решил перед сном прокатиться, я вскочил на велосипед и, яростно нажимая на педали, отправился в магазин. Собаки за заборами лаяли мне вслед. Я мчался по улочкам, тонувшим в синеватом сумраке, и думал: «Смерть не страшна, когда перед ней была жизнь, полная приключений, любви, смеха, радости, — волны теплого ветра дули в лицо, придорожный репей и малина хлестали по вертящимся спицам. — Когда впереди на тропе жизни вырастет стена небытия, не лучше ли обернуться и с удовольствием взглянуть на пройденную дорогу? Испустив последний вздох и обратившись в землю, мы станем Великим Целым со всем миром. В этом есть что-то грандиозное... Стоит записать разговоры этого вечера и получится небольшой рассказ, полный кухонной философии. Или можно сделать маленькую невеселую пьесу».

Купив банку пива и пачку сигарет, поехал к озеру. Пронзительно синее небо и первые звезды отражались в спокойной воде. Комары вспыхивали в мягком свете заката, как рыжие искры. Я закурил, открыл пиво и, подняв банку, выкрикнул к небу свой тост:

— За живых!

Глупо.

